

**Евгений Замятин. МЫ (1921/1922)**  
Запись 16-я. (отрывок)

Двое: один – коротенький, тумбоногий – глазами, как на рога, подкидывал пациентов, и другой – тончайший, сверкающие ножницы-губы, лезвие-нос... Тот самый.

Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвия – что-то о бессоннице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-губы сверкали, улыбались.

– Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.

Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда "душа в душу", "равнодушно", "душегуб", но душа –

– Это... очень опасно, – пролепетал я.

– Неизлечимо, – отрезали ножницы.

– Но... собственно, в чем же суть? Я как-то не... не представляю.

– Видите... как бы это вам... Ведь вы математик?

– Да.

– Так вот – плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот – видите, и щурим глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон – мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте – от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней – все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми – дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала – внутри вас – солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это – впитывает, и от всего след – навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице – и она уже навсегда в вас; однажды вы услышали: в тишине упала капля – и вы слышите сейчас...

– Да, да, именно... – Я схватил его за руку. Я слышал сейчас: из крана умывальника – медленно каплют капли в тишину. И я знал это – навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было – и вдруг... Почему ни у кого нет, а у меня... Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг.

**Jevgenij Zamjatin. MY (1969)**  
přel. Vlasta a Jaroslav Tafelovi

Jsou tu dva: jeden je malý, má sloupovité nohy a očima jako když pacienty nabírá na rohy, druhý je hubeňoučký, rty jako lesklé nůžky, nos jako břitva... Starý známý.

Vrhl jsem se k němu jako k nejlepšímu příteli, rovnou na ostří – breptám něco o nespavosti, snech, stínu, o žlutém světě. Nůžky se leskly, usmívaly.

„Je to s vámi zlé! Zřejmě se vám udělala duše.“

Duše? To divné, prastaré, dávno zapomenuté slovo. Říkáváme někdy „z hloubi duše“, „promluvit do duše“, „oduševnělý“, ale duše...

„Je to... moc nebezpečné?“ zamumlal jsem.

„Nevyléčitelné,“ ustríhly nůžky.

„A... oč vlastně jde? Neumím... si to... představit.“

„Víte... jak bych vám to... Vy jste matematik, že ano?“

„Ano.“

„Tak se podívejte – plocha, povrch, třeba tohle zrcadlo. A na té ploše jsme my dva – tuhle, vidíte, mhouříme oči před sluncem – a je tam ta modrá elektrická jiskra v trubici a teď se tam mihl stín aera. Jenom na povrchu, jenom letmo. Ale představte si, že ten neproniknutelný povrch najednou změkkl působením nějakého ohně a nic už po něm neklouže – všechno proniká dovnitř, tam do toho zrcadlového světa, kam v dětství rádi nahlížíme – děti nejsou nijak hloupé, ujišťuji vás. Z plochy se stalo trojrozměrné těleso, svět, a v nitru zrcadla – ve vašem nitru – je teď slunce, proud vzduchu od vrtule aera zrcadlo odráží, odmršťuje, ale tohle vstřebává a všechno v něm zanechává stopu – navěky. Kdysi jste viděl sotva znatelnou vrásku na něčí tváři – a teď je navždycky ve vás. Kdysi jste slyšel, jak v tichu dopadla kapka – a slyšíte ji pořád.“

„Ano, ano, je to tak,“ chytil jsem ho za ruku. Znovu jsem slyšel, jak z kohoutku nad umyvadlem pomalu padají do ticha kapky. A věděl jsem, že to je navždycky. Ale proč mám najednou duši? Neměl jsem ji – a najednou... Proč ji nemá nikdo než já? A ještě pevněji jsem sevřel tu hubeňoučkovou ruku – bál jsem se, abych neztratil záchranný kruh.

– Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев – одни только лопаточные кости – фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже не нужны – есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья – чтобы летать, а нам уже некуда: мы – прилетели, мы – нашли. Не так ли?

Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбоного протопал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.

– В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил (тончайшего на рога) – я вам говорил: надо у всех – у всех фантазию... Экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия...

Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа – в мой мозг, записывал что-то в книжку.

„Proč? A proč nemáme peří, proč nemáme křídla – jen lopatky, základ pro křídla? Protože už křídla nepotřebujeme – máme aera, křídla by nám jen překážela. Křídla jsou k létání, ale my už nemáme kam letět – už jsme dolétali, už jsme dosáhli svého. Nemám pravdu?“

Zaraženě jsem přikývl. Podíval se na mne, zasmál se ostře, lancetově. Druhý lékař to uslyšel, přidusál na sloupovitých nohou ze své ordinace, očima nabral na rohy napřed mého hubeňoučkého doktora, potom mne.

„Co je? Duše? Říkáte duše? Ztracená práce! Když to takhle půjde dál, máme tu za chvíli cholery. Já vám to říkal (nabral hubeňoučkého na rohy), já vám to říkal, všem – všem musíme vyoperovat tu fantazii. Operativní zákrok, a je to. Tady pomůže jen chirurgie, jen chirurgie...“

Nasadil si ohromné rentgenové brýle, dlouho chodil kolem mne a díval se lebečními kostmi do mého mozku, něco si zapisoval do bloku.

**Евгений Замятин. МЫ (1921/1922)**  
Запись 16-я. (отрывок)

Двое: один – коротенький, тумбоногий – глазами, как на рога, подкидывал пациентов, и другой – тончайший, сверкающие ножницы-губы, лезвие-нос... Тот самый.

Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвия – что-то о бессоннице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-губы сверкали, улыбались.

– Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.

Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда "душа в душу", "равнодушно", "душегуб", но душа –

– Это... очень опасно, – пролепетал я.

– Неизлечимо, – отрезали ножницы.

– Но... собственно, в чем же суть? Я как-то не... не представляю.

– Видите... как бы это вам... Ведь вы математик?

– Да.

– Так вот – плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот – видите, и щурим глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон – мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте – от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней – все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми – дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала – внутри вас – солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это – впитывает, и от всего след – навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице – и она уже навсегда в вас; однажды вы услышали: в тишине упала капля – и вы слышите сейчас...

– Да, да, именно... – Я схватил его за руку. Я слышал сейчас: из крана умывальника – медленно каплют капли в тишину. И я знал это – навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было – и вдруг... Почему ни у кого нет, а у меня... Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг.

**Evgenij Zamjatin. MY (1927)**  
přel. Václav Koenig

Dva: jeden – krátký, těžkonohý – popadá očima pacienty jako rohama – a druhý tenoučký, blyštící se nůžky – rty, ostří nosu... on.

Vrhl jsem se k němu, jako k blízkému přímo na ostří – něco o nespavosti, snech, stínu, žlutém moři. Nůžky – rty se blyštily, usmívaly...

– Je to s vámi špatné. Udělala se vám asi duše.

Duše? To podivné, pradávné, dávno zapomenuté slovo. Říkali jsme mnohdy: „oduševněle“, „s klidnou duší“, „duše na jazyku“, „z duše ráď“.

– Je to... velmi nebezpečné? – zablábolil jsem.

– Nevyléčitelné, – ustříhly nůžky.

– Ale... oč tu vlastně jde? Jaksi... nemohu si to představit.

– Hleďte... Jak bych vám to... Vy jste přece matematik?

– Ano.

– Tak tedy – vezměte plochu, povrch, nu třeba toto zrcadlo. A na povrchu jsme my dva, tu vidíte – mhouříme oči před sluncem, a tu je elektrická jiskra v trubičce, a tam se mihl stín letadla. Jen na povrchu, jen na vteřinu. Ale představte si, že se ten neproniknutelný povrch pojednou nějakým ohněm změkčil a nic už po něm neklouže – všechno proniká dovnitř, tam do toho podzrcadelného světa, kam jsme se se zájmem dívali jako děti – děti vůbec nejsou tak hloupé, ujišťuji vás. Plocha se stane objemem, tělem, světem, i to uvnitř zrcadla – uvnitř vás – slunce, a vítr od vrtule letadla a vaše chvějící se rty? a ještě něčí? Rozumíte? Chladné zrcadlo odráží, odvrhává: a toto vssává, a po všem zůstane stopa – na věky. Někdy sotva znatelná vrásečka na něčí tváři – a už je ve vás navždy; někdy uslyšíte: v tichu upadla kapka vody a vy nyní slyšíte...

– Ano, ano, právě – chytil jsem jej za ruku. Slyšel jsem nyní: z kohoutku umyvadla kapou kapky do ticha. A já věděl: to je navždy. – Ale přec jen, proč najednou duše? Nebyla, nebyla a najednou... Proč ji nikdo nemá, ale já... A ještě pevněji jsem se zachytil tenoučké ruky: bylo mi těžké ztratit záchranný kruh.

– Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев – одни только лопаточные кости – фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже не нужны – есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья – чтобы летать, а нам уже некуда: мы – прилетели, мы – нашли. Не так ли?

Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбоного протопал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.

– В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил (тончайшего на рога) – я вам говорил: надо у всех – у всех фантазию... Экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия...

Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа – в мой мозг, записывал что-то в книжку.

– Proč? A proč nemáme per, nemáme křídla, – nýbrž jen lopatkové kosti – základ pro křídla? Přece proto, že křídla už není třeba – máme letadla – křídla by jen vadila. Křídla jsou pro létání a my nemáme kam letět: my jsme přiletěli, my jsme našli. Není tomu tak?

Roztržitě jsem kývl hlavou. Podíval se na mne, rozesmál se kovově, lancetově. Ten druhý to uslyšel, těžkopádně zadupal ze svého kabinetu, očima vyhodil jako rohama tenoučkého doktora, hodil i mne.

– Oč jde? Co – duše? Duše, říkáte? Čert ví, co to je. Takhle dospějeme brzy i k choleře. Říkal jsem vám (tenoučkého na rohy) – říkal jsem vám: všem se jim musí – všem fantasie... Vyextirpovat fantasi! To je pořád řečí o chirurgii...

Nasadil si ohromné roentgenovské brýle, chodil dlouho kolem dokola a díval se skrze lebeční kosti – do mého mozku, zapisoval něco do knížky.